

нанёс России призывом к смирению. Призывать надо было к бунту. Потому Ленин и называл его “архискверным”. В советские годы его сорок лет не включали в школьные программы за религиозность и монархизм.

Но при этом Бунин считал, что Октябрьская революция началась под влиянием того безумия, диссонанса, который обрушил на голову интеллигенции Достоевский.

Если бы Безайс, которого очень злили косные, нерушимые законы математики (нельзя, к примеру, между двумя точками провести больше чем одну прямую), который хотел ворваться в их мир на коне и провести не одну, а две, три, десять прямых между двумя точками, — если бы он знал, как близки его чувства герою Достоевского, который ненавидит за наглость закон: “Дважды два четыре”! Как близок ему автор, который сказал о себе: “Я самый левый, потому что неуспокоившийся”.

Так было и при жизни писателя. Демократы упрекали Достоевского за попытку примирить угнетателей и угнетённых, за христианскую проповедь. Христианский философ Леонтьев корил автора за идеи, глубоко чуждые христианству.

Для философов Серебряного века Достоевский был кладезем христианских идей, главной отправной точкой, на которой они строили свои богословские, философские, нравственные концепции о путях России, о русском Боге, о добре и зле, о Ницше и Толстом. Вересаев в те же годы написал, что и автор, и его герои в романах Достоевского — “подвижники сатаны”.

Воистину прав оказался Г.Успенский, упрекнувший раз Достоевского, что тот не высказал свою мысль “в более ясной форме”.

О форме романов Достоевского, о новаторском строении его художественной мысли наиболее полно и ясно написал М.Бахтин в книге «Проблемы поэтики Достоевского», которая пришла к нам лишь в шестидесятые годы прошлого столетия. Для многих из нас она стала философским и филологическим откровением. Мне и сегодня кажется, что без этого ключа подход к Достоевскому невозможен.

Читатель воспитан на традиционном классическом романе — “монологическом”, как называет его Бахтин, в отличие от “полифонического”, то есть многоголосого, многоакцентного романа Достоевского. Читатель привык среди всех мыслей, теорий и идей, которые излагают различные герои, легко угадывать голос автора, который эти мысли строит, сопоставляет, приводя нас к своим оценкам. Мы говорим: “Я читаю Тургенева”, “Я читаю Толстого”. Нам не приходит в голову читать Андрея Болконского, Лаврецкого или Базарова. У Достоевского же буквально происходит то, что мы “читаем Шатова”, Ивана Карамазова, вступаем с ними в диалог, в спор или берём на щит их философию.

Возражение о том, что и о других писателях можно сделать подборку весьма разноречивых мнений, в данном случае не довод. Одни и те же факты и идеи можно трактовать по-разному. Но никто не уверяет, что герои, скажем, Толстого не ищут смысла жизни, что автор не обличает свет и цивилизацию. Так же как никому, ни противникам, ни поклонникам Маяковского, не придёт в голову доказывать, что автор любит Христа, проповедует кротость и никогда не воспевал коммунизм.

С Достоевским же происходит буквально так: “Каждый, входящий в лабиринт полифонического романа не может найти в нём дороги и за отдельными голосами не слышит целого... Каждый по-своему толкует последнее слово Достоевского, но все одинаково толкуют его как одно слово, один голос, один акцент” (Бахтин).

Читатель не слышит целого, потому что привык, что целое, микрокосмос романа, строит только один человек — автор. Здесь же каждый герой авторствует. Сам строит свой мир, предлагает свои ориентиры, как в этом мире разобраться. Герой слишком активно общается с читателем, требует от него ответа на поставленный им вопрос, раздражённо предугадывает этот ответ и уже отвечает на него.

В монологическом произведении всё объединяет единая авторская точка зрения, она помогает нам ориентироваться в его мире, даже если мы с этой точкой зрения не согласны. Здесь же каждый раз выдвигаются новые критерии добра и зла, истины и лжи. Мир рушится и создается на наших глазах.

На уровне ощущения это очень хорошо почувствовала многолетний друг Достоевского г-жа Е.А. Штакенщнейдер: “Как сравнить его, как романиста, с Тургеневым. Читать Тургенева — наслаждение, читать Достоевского — труд, и труд тяжёлый, раздражающий. Читая Достоевского, вы чувствуете себя точно прямо с утомительной дороги и попавшим вдруг в незнакомую комнату, к незнакомым людям. Все эти люди толкуются вокруг вас, говорят, двигаются, рассказывают самые удивительные вещи, совершают при вас самые неожиданные действия. Слух ваш, зрение напряжены в высшей степени... вы стараетесь понять, что тут происходит... и если при невероятных усилиях поймёте, что каждый делает и говорит, то зачем они все тут столкнулись, как попали в эту сутолоку, никогда не поймёте; и хоть голова осилит и поймёт суть в конце концов, то чувства всё-таки изнемогут”.

Немецкий исследователь Отто Каус видит это же явление на уровне социального многомирия: “Достоевский — это такой хозяин дома, который отлично уживается с самыми пёстрыми гостями, способен овладеть вниманием самого разношёрстного общества... Старомодный реалист